

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ

БУМАЖНЫЙ ГЕРОЙ



Александр Давыдов

**Бумажный герой.
Философические повести А. К.**

«WebKniga»

2015

Давыдов А.

Бумажный герой. Философичные повести А. К. / А. Давыдов —
«WebKniga», 2015

Эта новая книга Александра Давыдова не просто сборник повестей, или философских притчей, как их называют некоторые критики, а цельное произведение, объединенное общей темой и единым героем. В ней автор сохраняет присущее его прозе сочетание философской напряженности мысли с юмором и иронией. Причем, как автор всегда подчеркивает, он обращается не к какой-то группе интеллектуалов, а ко всем и каждому, не учительствуя, а призывая к сотворчеству в разрешении вечно актуальных проблем бытия.

© Давыдов А., 2015

© WebKniga, 2015

Содержание

От публикатора	6
Философичные повести А. К.	7
Гений современности	7
Заурядная личность	7
Образ гения современности	9
Свойства моей памяти	11
Художник	12
Виртуальная личность	15
Родня	17
Чудаки	20
Демон или ангел?	22
Предутренний город	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Александр Давыдов
Бумажный герой.
Философичные повести А. К.

© Александр Давыдов, 2015

© «Время», 2015

* * *

От публикатора

Как-то путешествуя с другом в окрестностях города N, я обратил внимание на стоявшую над рекой изысканную усадьбу, вовсе не растратившую за два с лишним века свою прелесть, несмотря на ее нынешний разор. Поражал безупречный вкус, вероятно, провинциального архитектора: классическая точность и выверенность линий, отсутствие избыточной барочности современных ей построек. Да еще и дивный парк, разросшийся почти до потери первоначального замысла, однако ж не обратившийся в хаос. Над ним будто витал сладкоромантический дух утраты, к которому я всегда чуток. Друг, хорошо знавший эти места, объяснил, что в усадьбе еще не так давно помещалась психиатрическая больница для научных работников, как гуманитариев, так и естественников. В конце 80-х годов прошлого столетия она была закрыта решением Минздрава из-за кампании в прессе против карательной психиатрии. Предполагавшийся там взамен музей усадебного быта так и не был открыт. Я уговорил друга осмотреть заброшенный дом изнутри. В общем-то, оказалось, ничего интересного, годы лихолетья сгубили изначальный декор, придав интерьеру уныло-больничный облик: ржавые койки, стандартные тумбочки и тому подобное медицинское убожество. Даже запах лекарств и душок безумия так и не выветрился за два десятилетия. Можно было бы сказать, что мы потратили время зря, если бы не одна заинтересовавшая меня находка. На пыльных стеллажах бывшей больничной библиотеки мы обнаружили пару десятков брошенных за ненадобностью книг, в большинстве действительно малоинтересных. Точней, все они не представляли никакого интереса, кроме единственной. Это был третий выпуск, видимо, многотомного издания «Творчество душевнобольных», опубликованного психбольницей, судя по грифу, исключительно «для служебного пользования». Книга меня заинтересовала, ибо я знал, что безумие соседствует с гениальностью. Действительно, оказалось любопытное чтение. Не знаю, как насчет гениальности, но я обнаружил немало своеобразных, по-своему одаренных художников, поэтов, прозаиков и даже драматургов. Стишки, хоть и ни в склад ни в лад, но все ж иногда подкупающие смелостью и оригинальностью образа; выразительные рисунки, так и сочащиеся безумием; карикатуры на врачей; живые драматические сценки из больничного быта. Однако больше всего меня заинтересовали несколько прозаических сочинений неведомого жанра (повесть не повесть, трактат не трактат), принадлежащие одному и тому же автору, обозначенному как «больной А. К.». В отличие от остальных, безусловных дилетантов, это был, не исключено, профессиональный литератор, по крайней мере, человек, искушенный в письме. При явном сумасшествии, больному А. К. были свойственны живой ум и немалая начитанность. Как увидите, среди очевидного бреда – впрочем, достаточно цветистого – и самоуверенного шизофилософствования, в его сочинениях нередко попадаются вполне глубокие мысли и даже осуществившиеся пророчества. Если бы не болезнь, из него мог получиться довольно продуктивный мыслитель. Хотя, возможно, наоборот – именно безумие обострило отпущенные ему интеллектуальные и творческие способности. Решение опубликовать труды «больного А. К.», мне пришло в наше тяжелое время: когда лучшие умы в тупике, стоит прислушаться к детям и безумцам. А ведь первое издание сочинений этого страдальца, учитывая мизерный тираж 99 экземпляров и суровый гриф, так и осталось втуне. Возможно, я нарушаю чьи-либо издательские и авторские права, но – в утешение себе, – не преследую личной корысти: весь гонорар обязуюсь перечислить в благотворительные фонды поддержки психиатрических лечебных заведений.

Александр Давыдов

Философические повести А. К.

Гений современности

Заурядная личность

Я уже вроде бы достаточно лет живу на свете, чтобы привыкнуть к собственной посредственности. Не то чтобы с нею смириться, вовсе нет, она всегда была мне защитой от многоцветья эпох, мне выпавших. Оно бы меня ослепило, но что такое заурядность, как не темные очки, без которых не взглянуть в излишне яркий образ? Правда, сам он делается сумеречен, сероват. Посредственность – то же самое, что жизненная умелость, прилаженность к жизни. А что я к ней прилажен, несомненно. Прилажен исконно, от рождения, даже раньше. Моя заурядность выстрадана и обкатана предками, – и мой долг сыновней почтительности следовать ей и передать в незапятнанном виде будущим поколениям. Но вручить ее покамест некому, я до сих пор избегал деторождения, которое мне видится деяньем почти бессмысленным, коль мой потомок станет не яркой искрой бытия, ни даже самым мельчайшим пророком или первопроходцем, а лишь приумножит всемирную заурядность. Тут были и другие сомнения и страхи, о которых когда-нибудь скажу.

Все в жизни мне давалось столь просто и легко, что даже вовсе не требовало усилия духа или ума. От этого можно было бы испытать удовлетворение, – так уж часто я видел мучеников жизни, истертых до крови об ее мельчайшие шероховатости, лишь надраивавшие до блеска прочную капсулу моего естества. Я не бесчувствен, но мои чувства, признаюсь, поверхностны, мало затрагивают душу. Подробности своей жизни излагать не стану, если уж и я сам не задерживал на них внимания. Они даже и мне самому малоинтересны. Не стану уподобляться зануде, который на равнодушное «как поживаешь?» начинает и впрямь рассказывать всю свою жизнь с никому не нужными подробностями. Поверь, друг мой, пересказывать мою жизнь все равно что жевать какую-то серую безвкусную вату. Нет, я вовсе не беспамятен, напротив, схватываю и приберегаю краеугольные вехи своего бытия. Однако, как памятки, небрежные заметки на полях, не напитанные ни счастьем, ни горечью, не в коконе сколь бы ни было ярких чувств или ностальгии. Моя память практична, если что и хранит, то лишь для дальнейшего прямого использования. Даже имени своего, пожалуй, не сообщу. Что в имени моем? Его определенность разве что спутает. Представь себе обычного человека, достойного любого из имен.

Я мог быть вполне удовлетворен своей заурядностью, возможно, и гордился бы ею или полагал едва ли не благочестивой, то есть соответствующей заурядности вселенской, в каком облике виделся мне мир сквозь мои темные очки, сберегавшие зрение. В таком случае роман моей жизни, соберись я его сочинить, оборвался бы самое большее на третьем абзаце. Вот на этом самом месте. Был бы наверняка удовлетворен и горд, – притом что совершенная посредственность тоже ведь своего рода талант, – если бы не невесть каким образом впившаяся в мою натуру крупинка ереси, прозреваемая мною также и в мироздании. Впрочем, я, как личность обыденная, путаюсь в диалектике ереси и благочестия. Возможно, эта крупинка как раз следствие моей прохладной религиозности, а может быть, связанной с нею опять-таки практичности. Надо ведь хоть что-то припасти, коль вдруг небеса призовут к ответу. Не собрание же общих мест и невеликих жизненных обретений. Как человек органичный существованию, я словно весь вымышлен не собой. Нет, не как ворох всеобщих мест, но подобно четкой и работоспособной системе, механизму, умно слаженному из чужих упований и благоприобретенных

умений, которые я заимствовал походя, как прилежнейший ученик срединного бытия, к тому еще замечательный имитатор. Обладающему безотказным жизненным чутьем, для меня даже сознание было излишним, но я благодарен его бледным виденьям, – все же не хотелось бы скоротать жизнь в беспробудном глухом сне.

Эта беззаконная крупинка, которая только мне самому заметный зазор меж мной и существованием, долгие годы не слишком меня тревожила. Мешала не больше, чем соринка, попавшая в глаз, от которой надо лишь проморгаться. Я относил подчас настигавшее чувство инобытия к неизжитому детству, когда меня, случалось, оведало дуновение будто б неземного ужаса, в образ какового, возможно, рядилось чувство даже и не мистичное, но которому взрослый язык за ненадобностью не отыскал названия. Что, впрочем, наверняка свойственно любому ребенку, еще не вовсе притертому к жизни, сколь бы он ни был к ней природно талантлив. С другими я не затрагивал этой темы, полагая ее запретной, – к тому ж из моих, по крайней мере, друзей вряд ли бы кто припомнил свои детские страхи. Я и вообще избегал небывовых и бесцельных, то есть пустых разговоров. Будучи и впрямь заурядным, я еще и строго соблюдал свою заурядность, стараясь не допустить ни единого чудачества, которых не лишена даже и любая посредственная личность. Если подумать, так это мое свойство было довольно-таки подозрительным, учитывая обычную потребность заурядной личности себя украсить хоть какой-нибудь причудой.

Возможно, я был лишен стремления приукрашать свой жизненный облик, поскольку мне была исконна одна причуда, если можно ее так назвать. Да нет, какая там причуда, глубинная и таинственная способность, полагаю, отнюдь не всеобщая. Правда, как говорил, я избегаю слишком интимных бесед. Однако вряд ли все вот эти бытовые, скучноватые, надо признаться, мои друзья, знакомые и сослуживцы обладают присущей мне способностью, – иль хотя бы один из них. Мое незаурядное свойство проявилось уже в самом нежном возрасте, – не смогу уточнить, в каком именно; моя практичная память размазала прошлое, точнее раскатала в ровный путь, на обочине которого высятся вешки памятных событий, как верстовые столбы на Коломенском тракте. Вот в чем оно заключалось: откуда-то, из неведомых глубин, с которыми мне вовсе не хотелось знаться, мне являлись мысли-чужаки, притом не чуждые, не тревожные, хотя и вовсе никак не связанные с моим существованием, а также и размышлениями – ни предыдущими, ни последующими. Притом касались предметов, о которых я вовсе и не задумывался. Они выпрыгивали, как лягушки из тины, нет, скорей, как золотые рыбки из прозрачного водоема, гладь которого достоверно отражала окрестности. Нет, скажу еще лучше: они приходили, как гости на пир, облеченные словами, несомненными, единственно возможными и праздничными. Я встречал неожиданных гостей растерянно, чуть смущенно, ведь не приготовил им достойной встречи. Какой там праздник, коль вся моя личность была даже и в детские годы – сплошь деловые будни? Выходило, что они ошиблись адресом, потому, чуть потоптавшись, покидали скучное для них, притом что вовсе не убогое помещение. Я забывал их тотчас, хотя мог бы и записать, но это все равно что присвоить чужое. Да еще неизвестно кому принадлежащее, может быть, это нечто вредное, хотя и приманчивое, какой-либо коварный дар. К тому ж не уверен, что записанные, они б оставались столь искрящимися; может, только б змеились по чистому листу витиеватой подпалиной.

Конечно, неизвестно откуда пожаловавшим незванным гостям я не оказывал достойного их почета. Однако те оказывались и ненавязчивы, и необидчивы. Являлись вновь и вновь, всегда неожиданные. Их явления были бы благодатными, – они, возможно, и оставались моей тайной гордостью, – но те яркие прозрения словно б разоблачали незначительность моего душевного – да и не только – существования, иначе б вовсе меня не тяготившую. Я ведь считал себя опроверженьем любой психоаналитики, душу свою прозрачной до самых последних глубин. Но тут ведь не мусор, не донная муть, а истинные жемчужины, потаенные и бесцельные, преподнесенные неизвестно кем и зачем как незаслуженный мной подарок. Оказывалось, что

где-то в глубинах моего, казалось, столь внятного естества, тайно варится изысканное блюдо, которым мне и угостить-то некого да к которому и сам не решаюсь притронуться. Не исключу, что мои давние детски нежные страхи служили ему чем-то вроде острой приправы.

Я не Сократ, чтоб беседовать с личным демоном, да и каким он мог быть мне советчиком в моих всегда прозаических нуждах? Эти блески, жемчужины были, разумеется, чужеродны моей всегдашней обыденности, причем хотел бы думать, выдающейся. Одного моего взгляда хватало, чтобы мир будто выцвел, становясь внятным и постижимым, как замирает хищник под взором укротителя. Чем дурная роль в мироздании быть одним из тех, кто укротил бытие, утопив в общих местах, банальностях и штампах, а сам миновал жизнь, сделавшуюся будничней самих будней, аки посуху, не всколыхнув ее вод? Все-таки я не лишен гордыни: если и готов считать себя посредственностью, то в своем роде совершенной.

Очередная золотая искорка, чуть померцав, угасала в моем сознании, оставив по себе, пусть ненадолго, ностальгическую грусть. Чувство, что моя жизнь – ничто как томление, не больше, чем скопление, пусть и рассортированных разумом, но едва ль не позорных мелочей, – пустяк без упования и цели. Пусть на миг, но сбивалась ровная поступь моего существования, будто я получил неожиданную подножку.

Бывало, излишние мысли не беспокоили меня годами, а подчас являлись одна за одной, праздничной вереницей. Случалось и хуже – они вдруг начинали глаголать моими устами, вызывая удивление моих немудрящих собеседников, поскольку прозвучавшие слова вовсе не относились к делу. Правда, подобная неделикатность излишних мыслей бывала редчайшей. Те были словно помещены в прочную капсулу непричастности моей жизни, ее вовсе не затрагивали, не питали ни ядом, ни вдохновением. Обычно чуть поманив и немного растревожив душу, незваные гости удалялись, вежливо прикрыв за собой дверь. Но куда ведущую? Может быть, в кем-то издавна обжитое помещение? Трудно предположить, что в моей душе, прозрачной будто стеклянная, все-таки нашлось место для тайной кельи с ее неизвестным обитателем. Это таинственное негде, посылавшее благодатных вестников, смущавших мою опытную в жизни, но чем-то и наивную, беззащитную душу. Да и где пребывал этот кладезь ненужных мне сокровищ – в собственной моей стеклянной душе или, может, витал где-то в пространстве? Не сказать чтоб я об этом часто задумывался. Однако шли годы, – именно что не тянулись и не бежали. Моя память испещрялась нетревожными вешками, а жизненные умения становились все совершенней. В конце концов я достиг блистательной машинальности – слова исторгал без запинки, а жизненные решения принимал вовсе не задумываясь. Я мог бы сделать карьеру и поярче, если б твердо не следовал своей срединности иль, наоборот, срединность не выпускала меня из своих тенет. Значит, спасибо ей за мое бестревожное существование.

Оно длилось,

Образ гения современности

пока вдруг не настал миг, когда я ощутил еще едва повеявший из-за поворота могильный ветерок. Это уж не соринка в глазу, от которой проморгаешься. Нет, я оставался еще как бодр и полон сил, исполнен благодетельным равнодушием к горнему, но все-таки я ощутил предвещье если и не трагедии умиранья, то драмы осеннего увяданья жизни. Вдруг почувствовал, что теперь все значительней будет каждый мой шаг, ибо все сугубей делалось пространство, которым я ступаю. Даже странно, что для самой заурядной личности, каков я, оказалась почти невыносимой перспектива провести всю жизнь во сне, среди выцветших образов бытия, чтобы потом погрузиться в уже вечный сон без сновидений, коль нечего с собой прихватить в иные миры. И вот тут-то меня посетило видение, – если прежде ко мне являлись лишь мысли, облеченные в яркий словесный наряд, то теперь это был именно образ, притом человекоподобный, пусть менее определенный, однако более навязчивый, чем прежние гости, приодетые как на

праздник, а угодившие в серые будни. Неопределенным он был лишь в том смысле, что у меня не доставало словесного таланта описать его облик. Он был, как я сказал, человекоподобен, однако в мощи, силе и блеске, по моим понятиям недоступным ни единому земному существу.

Это было виденьем яркой жизни, возможность которой я лишь угадывал среди бледных теней будничного существования. Тогда и мир на мгновение просиял, притом оставшись прежним, – будто я узрел его с какого-то необычного ракурса. Казалось, он, тот образ, впервые смахнул с моих глаз темные очки, самое чрезмерность делавшие выносимой. Завороженный, почти ослепленный, чуть испуганный, – хотя вроде и не пуглив, – неожиданным видением, я тотчас угадал, что он не лишь одному мне вестник. Собрав в горстку свой многолетний, однако дробный опыт бытия, пробежав памятью жизненные вешки, я угадал в нем некое обобщение. Он был гением не места, а эпохи, ибо, – я это верно почуял, – отвечал всем ее свойствам, однако вовсе не как ее скудная абстракция. Посетивший меня образ казался живей самой жизни, а существование – лишь павшей от него тусклой тенью на замусоленной равнодушными взглядами стенке. Он был, поверь, друг мой, вовсе не мороком. Что наша эпоха гениальна, я подозревал издавна: тому свидетельство – ее громовые раскаты. Притом милосердно подернута серенькой пленкой, чтоб оказаться посильной обывателю вроде меня.

Он был убедителен, как сама несомненность. Он был даже не вестником, а самой вестью. Ничего не нашептывал, как то подобает демон-искусителю, но и не благовествовал подобно ангелу, а лишь пребывал в своем горделивом величье. Свидетельствовал: я есть, и ничего более. А коль есть он, то существует и другая жизнь, заслоненная привычными для нас сероватыми буднями. Так, друг мой, так вот. Все ж это был не ангел, ибо не целиком благ, но и не бес, ибо не звероподобен, – впрочем, много ль я смыслю в нематериальных сущностях? Он был драматичен, но вряд ли трагичен. Я, подумав, назвал его демоном эпохи. Потом, еще подумав, – гением современности, и остановился на этом определении. Уже само название обозначало, что от него не отмахнешься, хотя, явившись раз, он больше меня не посещал. Притом яркие бесцельные мысли, которые, как я тотчас понял, были его посланиями мне, стали меня донимать все чаще. Впрочем, донимать – не то слово, по-прежнему оставались словно б дарами неведомого деликатного благодетеля: хочешь – принимай, не хочешь – так он не обидится. Причем даже столь деликатного, что не сопровождал подарок визиткой с собственным именем.

Но тогда все ж непонятно, какой он был природы – ангельской или бесовской, одарял меня крупными непрактичной истины или всего только душевным томленьем? Впрямь ли он тайный лидер эпохи, а может, лишь наважденье? Не знаю, что было б, если только он явился, я б велел ему: сгинь! Вряд ли бы у меня повернулся язык, но я вовсе и не желал от себя отогнать возможно единственный подлинно живой образ, вдруг глянувший из вороха картонных лиц и непровиденциальных событий моей скаредной жизни, которая в сравнение с ним сама-то казалась наваждением.

Я человек без фантазии, как и должно посредственности. Трезвый ум – мое общепризнанное достоинство, даже мои сновидения на диво рациональны, скорей они рассуждение, чем изломанная психоаналитическими бреднями память или пророчество. Мой ум, увы или к счастью, неизвилист, способен прозревать будущее, но только до поворота. Притом, как человек истинно трезвый, я готов к любой неожиданности. Измыслить демона мне, конечно, не под силу, как и смешно претендовать на индивидуального искусителя, да еще столь яркого. Оттого я не сомневался, что это было виденье эпохи в ее подлинном, грозном облике. Притом воплощенной вовсе не призраком, не идеей, а некой действительно человеческой или человекоподобной сущностью, бытийствовавшей во всей своей личностной определенности. Только вот где и как – во плоти или нематериально?

Вот мои доводы в пользу реальности его существования. Во-первых, я был вынужден признать, что явившийся мне образ вовсе не моя личная фантазия. Такого и предположить невозможно, что мне под силу сотворить столь полнокровный и убедительный образ. Я,

конечно ж, не смог бы придумать несуществующий облик, даже из позаимствованных деталей. Значит, подсказывал мне мой трезвый ум, чуравшийся фантазий, явившаяся мне личность была вполне реальна, то есть подлинно существовала. Причем, видимо, как действительное человеческое существо. Я вряд ли взыскан не только вышними небесами, но даже и нижними высями. Учитывая необъемность, или, скажем, малую емкость моей личности, трудно предположить, что я удостоился посланца соседствующих с нашим бытием ментальных или еще каких пространств, – да я в них и не слишком-то верю. В психо-аналитическую чушь, как уже признался, верю еще меньше. Значит, моя мысль, прозорливая до поворота, меня приводит к выводу, тоже странному, однако ж наиболее правдоподобному: с этой личностью, ярко воплотившей нам выпавшую эпоху, мне и впрямь доводилось встречаться на жизненных путях. Что удивляться, коль я и сам подчас тешил свою гордыню тем, что, будучи совершенным конформистом и прекрасным имитатором, я и есть сама эпоха в ее будничной сути. Так что даже имею право говорить от ее имени, правда, лишь не выходя за языковые пределы ее банальностей и общих мест. Предположу, что люди-эпохи, подобно явившемуся мне ее гению, тайно живут среди нас, источая и яд, и правду, притом соблюдая некую преемственность царств. Как, к примеру, кажется, далай-ламы. Скажешь, друг мой, буйная фантазия, но уж ты-то знаешь, что я совсем лишен воображения. Ты, бывало, прославлял мой ясный ум, так доверься ж ему и теперь, – он нас с тобой доведет, по крайней мере, до поворота.

Я, как человек без воображения, не слишком подозрителен, потому вовсе не предполагаю какой-либо тайной секты демиургов. Кстати, а почему б нет? Однако эту гипотезу, и верно слегка маньякальную, побережем напоследок. Признаться, я пытался отвязаться от того видения, однако не слишком решительно. Оно мне явилось, как я говорил, на краткий миг, но, оставив по себе мерцанье, едва ль не зрительное, которое просветляло мои уж затянувшиеся будни неким даже сладким, хотя и тревожным веяньем увлекательного инобытия. Случалось, я вдруг начинал радоваться непонятно чему или, бывало, печалиться, хотя прежде не знал ни упоенья, ни горя. Я вовсе не старался совсем изгнать таинственного пришельца. Нет, сначала

Свойства моей памяти

невольню, а потом уже намеренно обшаривал сусеки своей, всегда казалось, столь надежной памяти. Кем-то ведь был заронен тот образ, будь он действительный человек во плоти или все же воплощенное чаянье людей, истомленных буднями.

Для начала я вскачь пробежался неизвилистым шляхом своей памяти. С ней у нас были отношения вполне деловые, не сентиментальные. Она услужливо и вовремя, как толковая ключница, содержащая в порядке свою кладовую, питала меня припасенными для дела жизненными прецедентами. Те были разнообразны, их было множество, надраенных до блеска, то есть избавленных от путающих подробностей, тем самым готовых к немедленному и точному применению. Однако моя прежде довольно бесчувственная память, стоило мне подвергнуть ее придирчивой ревизии, вдруг оказалась уклончивой и капризной. Я и раньше догадался, а теперь убедился, что немало там припасено впрок, для излишних обыденному существованию целей. Это, признаться, меня и не порадовало, и не смутило. Личности там, в кладовой памяти, хранились, надо сказать, небрежней, чем пространства и мизансцены. Анемичные и обобщенные, они, конечно, ничуть не напоминали своевольного гения эпохи. Но я и не ждал быстрого успеха, готов был подробно обшарить тайные сусеки своего прошлого. Конечно, я знал, что след демиурга, если где искать, то в смутно мерцавшем детстве, возможно, младенчестве. Учитывая восприимчивость младенца, ведь много не требуется, чтобы заковать, завожить его на всю его жизнь. Довольно что-то шепнуть, нечто навеять, даже невольно, чтобы одарить ярким незабываемым образом.

Да, моя память-ключница была, и верно, услужлива, но, возможно, и чересчур, как старый слуга, уверенный, что знает нужды хозяина лучше него самого. Можно было б призвать в помощь собственную память своих друзей, свидетелей моей жизни, разумеется, скрыв повод моих изысканий. Ну разумеется, ни единый из них не тянул на демиурга, хотя не исключу, что тот умел замечательно маскироваться и был вовсе не худшим, чем я, имитатором. Но все же учитывая, что я наблюдателен, он непременно б себя чем-то выдал, неким сбоем своей заурядности. Хотя должен признаться, что к людскому облику я не слишком внимателен. Часто путаюсь, принимая одного человека за другого. Однако подчас мне кажется, что у самой природы недостает воображения. Неужто и она не гениальна, слишком уж часто взамен штучного товара создавая типаж, то есть довольствуясь штампами? Да я и самого себя, бывает, не узнаю, взглянув поутру в зеркало, где всегда красовался безлико-импозантный мужчина полусредних лет, не хуже и не лучше, чем я себе виделся в своем достаточно льстивом воображении. Друзей я, конечно, выбирал по себе, ничуть не ярче, потому не надеялся найти в них достойных помощников своей памяти. Если моя память практична, то их, в своей практичности, была просто мелочна. Недавно встретил одного на каком-то случайном сборище. Мы не видались лет двадцать, притом не то чтоб он остался неизменен, нет, слегка обветшал, еще больше выцвел, хотя и прежде был неяркий, но остался верен своей довольно примитивной матрице, той простоватой схеме, что в нем просвечивала сквозь всеобщие привлекательные свойства юности. Листва с него облетела, остался лишь ствол. Короче говоря, он стал таковым, каким и был обречен стать.

Я, как уже признался, мало сентиментален, к встречам с бывшими друзьями не стремлюсь, но странным образом радуюсь каждой как шансу наконец-то непрактичного применения памяти. Всё ж мои закрома иногда стоит проветрить, да не мешает иногда и сверить с совладельцем припасенных на будущее безделок достоверность моих воспоминаний. Но каждая встреча приносила лишь разочарование. Мой склад безделок был столь же безразличен прежним друзьям, как и их собственный, подобный моему. Каждый из них будто вчера родился, притом за день уже успел обтереться, как разменная монета, лишиться младенческой свежести. Вот и этот мой бывший товарищ, с которым встретился после пары десятилетий разлуки, лишь одарил меня воспоминаниями своего предыдущего дня. Притом моим двадцатилетним бытованием он и вовсе не заинтересовался. К подобному я уже привык, потому не обиделся. С чего это я взял, что моя посредственная жизнь интересна другой посредственности? И с другой стороны, почему решил, что друг, которого я выбрал по себе, менее, чем я, прозорлив? Тоже, небось, разглядел мерцавшую во мне с малолетства жизненную схему. Ему довольно лишь примерить ее к своей заурядной жизни, и совпадение будет едва ль не полным, за исключением мелких частных. Тогда и впрямь, если уж обмениваться банальностями, то, по крайней мере, не вовсе потерявшими актуальность. Да и вот ведь я, перед ним, как итог прожитых лет. Зачем не то что читать, но даже и пролистывать роман, коль знаешь его развязку? Она такова – я жив, на вид здоров и довольно благополучен. Собственно, я сам-то душевно не щедр. Отчего ж тогда рассчитывать даже на такие дары, как внимание к моей жизни? И стоит ли она того?

Все же одним не вовсе заурядным другом я в жизни обзавелся. Хотя

Художник

даже и не друг он был, скорее приятель, поскольку слишком узкой была полоска ничейной земли, где мы могли с ним время от времени встречаться, ибо моя душа неспособна взмыть в горние выси, чтобы с его душой перекликнуться. Уже незаурядным было само его жизненное занятие, как он утверждал – призвание. Он был художник. Размышляя о том, кто б мог в меня заронить образ гения эпохи, разумеется, я вспомнил его первым. Это логично: худож-

ник – повелитель образов. Увы, хоть я не знаток искусства, но даже и мне было ясно, что он посредственный живописец. Хотя, возможно, моя оценка была предрешена уверенностью, что другой и не стал бы со мной знаться. Нет, все же вряд ли меня ввели в заблуждение сухость его форм, блеклые краски и дух уныния, исходивший от его полотен. Чтоб создать на своих картинах жизнеспособный мир, ему, видимо, недоставало таланта и душевной мощи, хотя, допускаю, его мастерство было отменным. На мой вкус, ни единая его картина не была замкнутой в себе и самодостаточной, все с какой-то едва заметной нехваткой. Впрочем, не исключу, что это их достоинство. И все-таки, какой уж там гений эпохи? Тот, по моим понятиям, либо очень умело таился, либо уж, скинув маску и мышинового цвета наряд, явится во всем присущем ему блеске и достоверности. А мой художник был, казалось, простодушен в своих творческих потугах и свой жизненный образ сотворил тоже вовсе не гениально, не лучше, чем смотрелась сама жизнь на его полотнах. Я, конечно же, понимал, что он лишь следует иному стандарту поведения и облика, чем это пристойно в кругу моих деловых партнеров и сослуживцев. И все же эта единственная откровенно творческая личность среди всех моих невзрачных знакомцев виделась мне Художником, тем присвоив все прозрения истинных гениев искусства, однако, как видим, вовсе не по своей воле, а поддавшись моему упованию. Какой уж там гений эпохи, коль было видно, что его гложет червь, хоть я все-таки верил, что не могильный. Он будто не доверял природе, не признавал изображенья с натуры. А может быть, то был замах ущербного демиурга, творящего небывалый мир, однако из крох от века существовавшего.

Притом не исключу, поскольку, как признался, не уверен в своих понятиях о живописи, что он был все же по натуре не лишен некоторой гениальности. На то намекала сама его речь, косноязычная, полувнятная, в которой, однако, нечто насущное сквозило в щелях его запинок и вряд ли сознательных недомолвок, – он как-то и сам признал, что его слова лишь труха, опадающая с его полотен. Допущу, и в своем искусстве он был хотя и не демиург, но и не ремесленник. Так или иначе, из всех моих друзей, приятелей и знакомых он единственный, как предполагалось, был хоть сколько-нибудь сведущ в горнем. Кроме как ему, мне и некому было поведать о явлении гения эпохи. Я, к своему удивлению, довольно быстро на это решился, учитывая, что даже и от него всегда таил неожиданно приходившие чужеродные мысли. Возможно, я все-таки не исключал, что с явившимся мне демиургом и он в свое время спознался. И уж, по крайней мере, был спокоен, что приятель-художник меня не высмеет.

Я всегда с некой опаской посещал его келью. Притом еще что художник избегал внятного выражения чувства. Всегда было неясно, рад он моему приходу или не рад вовсе, что смущало. Но смущал больше истерический разор его жилища. Возможно, мне так казалось, приученному родителями, что каждая вещь должна пребывать на присущем ей месте, даже как бы и не по нашему произволу, а нашей обязанностью – было выявить ее суверенное местоположение и в дальнейшем блюсти его. Такое воспитание, видимо, потом отозвалось свойствами моей памяти. Впрочем, допущу, что это был всего лишь наш семейный предрассудок, ведь художника разор его жилища, казалось, вовсе не тяготит. Стены были покрыты картинами едва ль не сплошным слоем, но всё же с мелкими просветами. Причем ни единой обрамленной, словно б живописец сознательно избегал ложной договоренности или, как и в своей устной речи, предпочитал вольное перетеканье смысла из одной фразы в другую. Его полотна не зияли окнами в иное бытие, а скорей развозили по стенке свое грязно-желтое уныние. И все-таки в этом разоре и тоске для меня присутствовало нечто манящее. Я возвращался к художнику вновь и вновь, хотя тот ничем не выражал своего дружелюбия. Не всегдашняя ль моя практичность? Вот настал час, и пригодился мне одичалый живописец.

Сразу, прямо с порога, безо всяких словесных прелюдий я рассказал ему о своем виденье гения. Живописец выслушал, не удивившись. Видимо, я оказался прав – художника ль поразить любым зрительным образом? Он помолчал, – а молчать-то умел, в отличие от всех моих знакомцев, тщательно избегавших заминок в беседе. Его паузы бывали столь значительны, что,

казалось, вот-вот грянет пророчество в сгустившемся, напряженном воздухе, когда он наконец обомнет губами, познает на вкус каждое готовое прозвучать слово, хотя, возможно, они объяснялись лишь его тугодумством. С пророчеством его речь роднила невнятность, та была обрывочна и нецельна, да еще полна лишних звуков – хрипов, отхаркиваний и пришепетываний, однако высказывания соотносились неким таинственным образом. Его речь, мне казалось, взыскующая смысла, нуждалась в толмаче, а я не лучший из возможных. По дурной привычке, после каждой нашей с ним встречи я старался самому себе разъяснить, что же все-таки от него услышал. Увы, в моем пересказе, не умеющем передать все разнообразие его заминок и пауз, лишенном речевых дефектов, слитном и внятном, его мысль делалась столь же плоской, как необъемный мир его живописи, будто размазанной по стенке. И все же попытаюсь передать, как смогу, ответное слово живописца, не вовсе своей холодной речью, а стараясь сберечь бесценные крупинки его безумия:

– Говоришь, гений эпохи, который реальней и ярче нашей сумеречной жизни? Этаким настигающим образ. (Так и сказал, точно помню, хотя так и не понял, что он разумел под настигающим образом.) Ты сейчас заморожен единственным виденьем, а я к ним привычен. Поверь, пусть я и плохой живописец кисти, но гораздо лучший художник воображения. Если бы ты знал, сколь яркие образы мне мерещатся в полудреме, а бывает, и наяву. Мог бы я и поверить в праздничную жизнь, затаенную под покровом будней, которой я непричастен, ибо ее недостойн. Но тот мир мне казался всего только грезой несостоявшегося художника, фантомом или кем-то оставленной приманкой для неприкаянного чувства. (Тоже подлинно его слова, – сам-то я что смыслю в неприкаянных чувствах?) Меня вовсе не призывают демоны праздничного мира, только манят, однако не желают водить моей кистью. Лишь попытайся его запечатлеть, всегда получится не мир, а поганый мирок, лишенный подлинного объема и свежих цветов. А тебя послушай, так всё наоборот: суверен праздничного мира истинно жив, а все мы – грешные не больше, чем блеклые тени его упований. Или нечто в этом роде. Может быть, и в тебе попросту вдруг разыграл неудачливый художник, тобою погубленный, и поделом ему.

Так вот, друг мой, он примерно сказал. Как видишь, даже в моей рациональной передаче его речь звучит довольно-таки противоречиво. Да я уж и говорил, что, переводя с его языка на собственный, теряю не меньше половины смысла. А иногда опасаясь, не весь ли. К тому же я, признаться, даже и не понял, отвечает он мне или старается унять своих собственных, его донимавших демонов. Наверно, и мой язык ему было непросто перевести на его исконный. Я всегда не решался его переспрашивать, как негоже допытываться даже у самого бездарного пророка. Но тут все-таки отважился. Причем тема требовала слов возвышенных, которые, не исключу, мне нащептал сам гений современности:

– Так ты считаешь, что мир именно таков, как нам видится, – осенний, в своем всегда вялом чувстве? Что он разве что несбывшееся упование великого демиурга? Что он, прежде яркий, отцвел навсегда, оставив картинки, ветшающие на стенах, заплеванных нашей привычкой? А что ж там, за стенкой? Ведь вряд ли все тот же плоский мир без пространства и благодати. Тогда получается, что мы в лучшем случае сухие розы меж страницами зачитанной до дыр книги бытия. К чему тогда и вся жизнь?

Тут, кажется, я впервые увидел художника озадаченным. Во-первых, никогда прежде я не задавал ему столько вопросов разом. Но больше, думаю, его смутил непривычный мне слог. Художник как обычно помедлил с ответом, и в паузу вторглись совсем уж излишние звуки, будто мышиная стайка точит древесную переборку.

– Тебе явлен впервые образ величия, – заговорил он, хоть и обращаясь ко мне, но будто говоря сам с собой. – Меня-то он преследовал с малолетства. Скорей не в человеческом облике, а в образе манящего пространства. Яркий мир мне виделся домом без хозяина, дверь которого замкнута хитроумным запором. А может, и с вовсе распахнутыми дверьми. Кто дерзнет туда ступить, тот и будет гением современности, хоть я подобрал ему вовсе другое название.

Зная художника, я понимал, что бесполезно выпрашивать, какое именно. Я лишь подумал, что, видно, он потому и безбытен, что лелеет мечту о вовсе другом жилище. Он смолк, столь глухо, что, казалось, будет молчать до скончания света. Однако ж все-таки заговорил:

– Подчас мне казалось, что пространство иной жизни, которая сквозит в прорехах будней, – вызов мне одному. Дом лишь только меня зовет в нем поселиться. Я распахнул бы окна, весь наш осенний мир залив сияньем блистательной жизни. Скажешь, гордыня? Возможно, но ведь я, поверь, поверь, великий художник воображенья, пусть и немощный в своей кисти. Но подгнивали плоды фантазий, а холсты мои, ты видишь, как унылы. Не окна в яркую жизнь, а не больше чем оборотка их пыльного задника. Все мои творческие порывы, гляди, обернулись немощными потугами. – И он щедрым жестом обвел рукой стены. – Теперь тот самый дом без хозяина, – неважно, на запоре ль его дверь иль она распахнута, – мне видится бессердечным. А может, мы все его недостойны, вот и довольствуемся серыми буднями. Закроем же покрепче глаза, замкнем уши, чтоб не слышать призыв этого пустого манка.

Так и сказал: «пустой манок», и я оценил этот невнятный, но изящный образ, затесавшийся в продуманный сумбур его речи, которую передал, как умею, то есть приблизительно, а может, и вовсе неверно. Я уже поминал, что наши с ним беседы были подобны разговору двух иностранцев. Он вроде слушал внимательно, но его сознание могло вцепиться в любую, как мне казалось, маловажную частность. И все ж, думаю, нам обоим была насущна эта перекличка смыслов, ауканье моего практичного разума с его цветистым воображением. Я ему ответил, осторожно выбирая слова, поскольку знал, что художник обидчив:

– Может быть, ты столь скептичен к праздничному пространству, что сам не ступил туда. Верю в мощь твоего воображения, однако любой его образ, оставшийся незапечатленным в своей полноте и смысле, лишь все бледнеющий призрак, прилипший к заплесневелой стене. Представь себе, что нашелся тот дерзкий, кто отважился овладеть пустующим, как ты уверен, домом, а может, тот принадлежит ему с рождения. У нас-то двоих наследство куда как скуднее. Верь, что мне явившийся демон казался реальней, чем сама явь, куда убедительней в своей гениальности нашей с виду блеклой эпохи. Скажем, в некотором роде явление истории в зияющем проеме будней.

Думаю, художника убедила не моя последняя фраза, а возвышенность речи, уж наверняка подсказанной затаившимся демоном. Он согласно кивнул и ответил примерно вот как:

– Готов поверить, что и самые скудные времена – лишь блеклые тени, отброшенные великим существованием, самые мелочные, даже и они по-своему гениальны. Но чего ж ты от меня хочешь, какого ждешь подтверждения? Тебе явился гений воочию, а мне ты его пересказал словами, бессильными описать объемы и краски. Скорей всего, это лишь фантазия или, скажем, какая-то ментальная сущность, демон всеобщих упований. А может быть, единственный гениальный порыв твоего воображенья. Может, ты и вовсе больше, чем я, безумен. Такое нередко случается, респектабельный и благопристойный псих – обычное дело. Это было б тяжким для меня открытием. Для меня ты вернейший ориентир, не то чтоб сама неизменность, скорей наоборот – изменчивость, безошибочно чуткая к жизни.

Я упростил его речь, но в данном случае почти уверен, что смысл передал верно. Вот ведь как оказалось, он меня использовал – я был своего рода путеводной нитью среди сумбура его грез. Уже готовый признаться художнику в подчас меня посещавших праздничных мыслях, я теперь остерегся. Я, собственно, друг мой, если честно, и сам толком не знал, зачем его растревожил. Но тотчас понял,

Виртуальная личность

привычно пробежав взглядом по хорошо мне знакомым стенам, шелушащимся блеклой живописью. Я обнаружил портрет, затесавшийся среди плоских, недосказанных, нелюбовно

изображенных пейзажей. Трудно сказать, из последних ли он был творений живописца или, может, я не замечал его долгие годы. Надо сказать, что его изображения невольно западали мне в память, потом там туманно мерцая и путаясь с видениями подлинной жизни. Такова, должно быть, сила искусства, пусть и не вдохновенного. Не скажу, друг мой, что я был потрясен образом, и вовсе не обнаружил в нем ни малейшего сходства с гением эпохи. Однако изображенный мужчина примерно в тех же годах, что были мы с живописцем, под рукой которого сновали мелкие человечки какого-то клопиного города, мне показался знакомым, едва ль не родственником, притом что знакомство или родство какие-то дефектные. Как бы, друг мой, выразить поточней? Он был мне знаком в каждой отдельной черте своего облика, притом что, уверен, я никогда не встречал его в жизни. Чем, спросишь, он привлек меня? Нельзя даже сказать, что это было обобщение или типаж, из штамповок подчас, как я поминал, ленивой на творчество природы. Изображение было подобно человеку, но угадывалось лишь человекоподобие, живописно верное, однако неорганичное сочетание подробностей облика. Уточню, что наши беседы с художником всегда велись в магических сумерках, – либо он вовсе не признавал электрического света, либо тот был навек отключен за неуплату, но когда вечерело, его кургузая келья освещалась лишь заткнутыми в консервные банки свечными огарками. Либо, еще предположу, чуть демоническое освещение наделяло тайной его полотна, тогда как яркий свет разоблачал всю их недостаточность. Подчас я думал, а не таков ли чуть демоничный сумрак его избыточной недомолвками речи? Но нет, уверен, что он был столь же истинно, может быть, и божественно косноязычен, сколь почти дьявольски мастеровит в своем художестве. Надо сказать, что портрет прочно завладел моим взглядом, поначалу впившимся в него скорей от растерянности. Я прервал эту отчасти гоголевскую сцену вопросом:

– Кто же он?

Тут я чуть не в первый раз увидел, что живописец улыбнулся. Это была дурная, вовсе не радостная улыбка, однако и без ехидства.

– Узнал?

– Узнал, – кивнул я с почти что полной уверенностью, – но только вот не знаю, кого именно.

Передам его ответ, привычно опустив лишние звуки и значимые паузы:

– Еще бы. Это даже не собирательный, а составной образ, нечто вроде пазла. Так, прихоть, игра. Обобрал чуть не всех наших с тобой знакомцев, позаимствовав у кого одну характерную черточку, у кого другую. Немного и тебя обокрал. Приладил их точно, как видишь, почти без зазоров. Вот и вышла виртуальная личность, неприкаянный образ (вновь прозвучало то же слово: неприкаянный), будто ждущий, когда к нему прильнет естество. Ведь верно, получилось нечто пугающее, как страшит призрак, который на самом-то деле безвреден, ибо он полый?

Тут художник почему-то задул все свечи, кроме одной, пустив полурассвет в свою комнату. А я вспомнил, что мертвым привычно цепляться за живых, как и загробные тени бесильны, не испив свежей крови. К тому ж, кому и быть алчной, как ни пустой сущности? Тут художник заговорил вновь:

– Понимаю, чем он тебя привлек. Видно, тем, что противоположен твоему гению. Вот она, перед тобой воочию, алчная обыденность нашего времени. Пожалуйста, верный фоторобот посредственности, – уж на это хватило моего мастерства, – коль кому-то вдруг захочется отыскать ее совершенный образ. Каждому он родной, всякий в нем заподозрит своего знакомого или даже родственника, не решившись опознать себя самого в столь откровенно убогом обличье.

Действительно, уж мой-то гений был вовсе не алчной тенью. Скорей нам всем, ублюдкам эпохи, его алкать, как собственного естества. Живописец говорил и еще что-то, но я уже невнимательно слушал. Не скажу чтоб меня осенило, но вдруг затаенная мысль обернулась

намереньем. Наконец-то я сам понял, какой подмоги ищу у художника. Я почти воскликнул, что мне, ты знаешь, непривычно:

– Если так, то вот что тебе предлагаю: сотвори наконец-то величавый образ. Пусть тоже будет пазл, но теперь из ярких деталей. Пускай тоже фоторобот. А я готов стать тайным согладатаем, – уворовывать, как и ты делал, внешние приметы гения у каждого, кто обладает хотя бы мельчайшей. Ведь если гений эпохи и впрямь существует, в чем меня убедила несомненность явления, – он столь очевиден, что не просто мысль и обобщение, а обязан существовать во плоти, – притом, пускай и не все, но многие припорошены золотыми блестками его гениальности. Ты вооружишь меня образом, а я отыщу его в жизни, узнаю наконец, кто мне, возможно, с колыбели потихоньку нашептывал чуждые и оттого тревожные мысли. (Все-таки проговорился.) А коль не отыщу, так пусть портрет висит на стенке, став чем-то вроде иконы, чтоб все же было к кому воззвать в безблагодатной вселенной.

Уж не знаю, отчего я вдруг себя вообразил знатоком гениальности. Но изголодавшийся не лучший ли дегустатор? Впрочем, вряд ли, голодному лишь бы насытиться. Живописец наверняка и не предполагал, чем обернется беседа. Обычно те бывали бескорыстны, чуть взаимно снисходительны, а теперь я даже не обращался с просьбой, но предлагал своего рода сообщничество. Не уверен, что художник считал меня достойным того. Но уговаривать его не пришлось. Можно сказать, он принял заказ, который я обязался оплатить, даже щедро. Но и все-таки, не исключу, что и самому живописцу показалось заманчивым изобразить возможного владельца недоступного ему жилища. По своей воле дерзнуть он уже вряд ли бы решился, но теперь был направляем моим всегда безотказным упорством. Мог бы я обратиться и к выдающемуся художнику, однако мой отчего-то показался наиболее подходящим. Так что я озадачил его заказом не лишь под влиянием мгновенного порыва.

Последняя свеча в банке, зацадив, догорела. Тогда вновь померкли картины, чуть извращенные иль приукрашенные немного безумным ночным освещением. Стихли таинственные ночные шелесты. Занимался печальный рассвет, призвав к делам века сего. Я покинул художника, теперь безмятежно

Родня

дремавшего в кресле, вдохновленный новой, хотя уже предугаданной наперед жизненной задачей. Не то чтобы я решил подбирать визуальные детали, тождественные представшему мне лику. Конечно, и это, коль удастся, но главное – не внешнее сходство, а значение, то есть каждая из них должна отозваться всему существу эпохи. Примерно так, друг мой, точней сказать не умею. Я решил не искать гения в книгах, которых прочитал довольно, даже чрезмерно для человека моей среды. Вышел бы какой-то пыльный гений, именно что сухая роза, забытая меж давно пережитых страниц. Да признаться, я к ним и всегда относился, хотя и с любопытством, даже с некоторым почтением, но так же легкомысленно, как относился к женщинам, о чем скажу позже. Так, игра мысли и чувства, – именно что литература.

Я следовал уже предугаданному плану, то есть начал изысканье с моего раннего детства, когда любой шепоток, заговор может оказаться навек запечатленным в наивной и вязкой, как пластилин, душе младенца. Где и пытаться найти притаившегося гения эпохи, как не в каком-либо закутке моей ранней жизни? Не надеясь, как уже сказал, на беспамятных друзей, я решил призвать в помощь память моих родителей, чье знакомство со мной продолжительней моего собственного, хотя уж давно отвык к ним обращаться за подмогой. Они и так одарили меня щедро всем тем, что имели сами. С детства поместили меня в замечательно ими обустроенный мирок, нетрагичный и уютный, причем пластичный и устойчивый, вовсе не сухой, – как случалось, хрустели иные мирки, раздавленные небрежным колесом истории. Не хотелось бы думать, что трагедия брезгает нашим семейством. Мир моих родителей напоминал стойкое

растение, исторические ураганы лишь заставляли трепетать его настойчивый стебель. Это был дивный мир, нетрагичный до самого донца, расписанный от истока жизни до последнего часа, от младенческого вскрика до гражданской панихиды. Тот мирок, что угнездился в моей душе, как я и сам собой в этом мирке угнездился. В том была их и мудрость, а не только одно простодушие, поскольку этот мирок с его идущими чередой благодатными буднями, был изобилён всем, чтобы там прожить и умереть достойно. Он был столь симпатично обыден, его основания настолько прочны, что я, казалось, избавлен своими родителями даже от донной душевной мути, потому – сплошное огорчение и обида любому психоаналитику. Было трудно предположить, что в этот бастион трудовых будней способен проникнуть гений эпохи. Однако он веет, где хочет, и, наверно, велик во всем – равно способен затаиться под личиной обыденности, как и предстать в своей силе и славе. Наверняка он предпочитал таиться, иначе б был понят всеми, отовсюду заметен. Поэтому стоило его поискать в самом скрупулезно обыденном существовании. Ведь все ж паре-тройке чудаков удалось каким-то непонятным образом приبلудиться к размеренной родительской жизни.

Должен сказать, вовсе не желая принизить своих отца и мать, что родительская мудрость была все-таки не индивидуальной, а родовой. Никого из своих предков и родичей я даже не рассматривал в качестве кандидата в демиурги. Это не значит, что все они были вовсе лишены чудачеств или приметных свойств, заставлявших чуть поигрывать листву родового древа, однако тем не нарушая общую мудрую безликость семейства. Чудачества бывали мелкими, житейскими, но им, как и пустячным событиям вроде мезальянса и адюльтера, в семье придавали чуть не историческое значение. Сберегались и памятные фразы, афоризмы семейной мудрости. Так мой двоюродный прадед, вернувшись уж не помню с которой из былых войн, обнаружил, что его жена, глуповатая баба, даже не из голода, а по дури продала их дом. На ее предложение снять номер в гостинице дед исторически ответил: «В гостиницу я позову кого-нибудь получше». Это, как считалось, находчивое хамство вошло в семейный обиход вместе с горсткой анекдотов о каком-то другом дальнем дядюшке, умершем прежде, чем я родился, который был «богачом, игроком и кутилой». Думаю, свойства, сильно преувеличенные моим непривычным к разгулу семейством.

Немного чудили и другие, но, вероятно, скромней. Их профессии были прозаичней некуда – врачи, юристы, бухгалтеры. И ни одного безумного мудреца. Рецессивные гены гениальности, безумия, как и наследственных болезней, счастливо миновали нашу семью, опозоренную разве что парой неравных браков. Пробежать памятью семейные легенды, окончательно убедившись, что в семейной истории затаиться гению было попросту негде, оказалось вовсе недолгим занятием. Самый краешек мозга это проделал за меня сам собой, пока я вел жлобские прения о продаже кому-то чего-то. Именно так – ветви родового древа отягощались отнюдь не какими-нибудь авокадо и манго, а привычными для средней полосы вполне питательными плодами.

Надо признать, что обыденность моих предков была в своем роде героической. Достаточно глянуть на даты их жизни, чтоб убедиться, что тем пришлось обретаться в аду крошечном. Они относились к молчаливому большинству, притом не таились, не трусили, а по самой своей натуре были отнюдь не чрезмерны. Все как один исповедовали триединый жизненный принцип: трудолюбие, здравый смысл и порядочность со всем подобающим комплектом добродетелей. Я подчас вглядывался в безмятежный лик моего отца, – нет, бывало, он и хмурился, и сердился, но по всегда внятным причинам, – стараясь обнаружить хоть что-то, какой-нибудь след ожога как свидетельство того, что он побывал у самых адских врат. Ничего, ни единой отметинки, никакой зацепки моему воображению. Такие свидетельства проще было отыскать в его трудовых анкетах. Если ему на миг и открылся демон эпохи, то он был столь ярок, что его ослепил навсегда. Я уже поминал темные очки, так вот они – ценнейшее для меня отцовское наследство. Сам того не подозревая, мой отец был из популяции великих экзорцистов,

умевших заклясть всех демонов разора. Но и райские сущности от их бытовой магии как-то меркли и смежались крылья.

Мама была ему под стать, с годами они стали даже внешне похожи. И все-таки чуть иной, более тревожной и честолюбивой. Но ее честолюбие было тоже не сказать чтоб чрезмерным. Она считала свое происхождение благородней отцовского и вела всю жизнь скромную бухгалтерию, плюсуя единички гамбургского счета. Кстати, семейные предания хранились только ее ветвью, отцовская представляла собой будто выжженную пустошь. Там лишь копошились вовсе блеклые тени, притом еще, что отцовские родители умерли, когда я был ребенком. Да к тому ж в дальнем городе, то есть для моего чувства – переселились из одного сумеречного пространства в другое. Отец словно бытовал без жизненного плана. У матери, конечно, он был, причем весьма продуманный, а еще больше прочувствованный с малолетства, частью которого стал и будущий сын, которого она, уверен, полюбила всем сердцем задолго до моего рождения. Она как будто предусмотрительно приготовила мне одежду на вырост. Плод, который теперь – моя личность, был завязан еще в древние для меня времена и к сроку созрел. Так вышло, что я угодил в чужую мечту, где вполне уютно обжиться. Это лишь означало, что материнский план верен, а тот образ, с которым мне предстояло слиться, не выдуман с панталыку, а выпестован родовым сознанием – некой продуктивной матрицей. Я был подобен родителям, лишь с чуть более гибким умом, – ровно в соответствии с внешне изощрившейся эпохой.

Я и не претендовал быть штучным изделием, а за благопристойный образ должен быть благодарен семье, ибо тот меня избавил от жизненной маеты. Ну конечно, в юности я пытался против него бунтовать, что, не исключу, было тоже предусмотрено материнском планом. Вполне, вполне возможно, интуитивная жизненная мудрость моей матери, кажется, даже превосходила мою собственную. С родителями у меня установились отношения даже слишком простые и внятные, которые могли показаться холодноватыми, а может быть, они таковыми постепенно и стали. Для себя я принял честный кодекс семейных взаимоотношений, главной своей целью поставив ничем родителей не смутить и не озадачить. Видимо, уже долгие годы они от меня большего и не ждали, по крайней мере, не требовали. Возможно, я боялся их чем-то смутить даже излишне, будто тем самым могут быть хотя бы в малейшей мере поколеблены основы моего мироощущения и миропонимания, я вдруг потеряю путеводную нить. А может быть, опасался разбередить все же предполагаемую отцовскую рану. Поэтому к познанию о демиурге эпохи я подошел вдумчиво, приготовился загодя, заранее припас осторожные слова.

Надо сказать, что в пору моей юности мы с отцом затевали даже споры, способные взмыть в метафизические выси, которых отец в беседе не чурался. Но я, и тогда уже умелый спорщик, избегал победы над отцом, причем не так из вежливости, как опасаясь тем самым словно бы нанести поражение эпохе. Точней, ее здравым основам, без которых вся жизнь превратится в сумбур. Даже и в горячке спора я успевал любоваться его ясным умом и здравомыслием, столь совершенным, что оно оборачивалось даже некой таинственностью, – в такой мере он был един со своим временем, с которым я, как выясняется, все же чуть разминулся. Пойми его – поймешь всю эпоху. Может быть, в сложенном живописцем пазле я различил легкое фамильное сходство. Но тот образ был всего лишь суммой черт, он больше напоминал карикатуру. И выражение лица было каким-то скардным, чуть ли не ехидным. Мой же отец – точный слепок, беспечная благодатная обыденность, как я уже говорил, кажется, и не раз. И речь его – всегда уютно-умное перетирание общих мест. Как, предполагаю, и моя собственная.

Память родителей отличалась от памяти моих друзей разве что некоторой своей историчностью. Да мать еще собирала вехи своих действительных или мнимых мельчайших, – а ей-то казалось важных, – побед. Они и правы – к чему озираться, коль ветер прошлого и так поддувает им в спину? Но, может быть, они соблюдали осторожность, – мало ль какие таятся вампиры в сумеречных просторах их памяти. Мой интерес к каким-то случайным, можно ска-

затя, несудьбоносным личностям и прежде ввергал их некоторое смятение. Да и мне самому он казался все-таки минимальным чудачеством. Хотя я и не писатель, мне было любопытно проследить судьбу человека, даже просто мелькнувшего в моей жизни, не оставив никакого следа. Значит, все-таки приберегал про запас случайные образы, как и коллекционировал самые разные умения и повадки. В общем-то, это было всего лишь очередным проявлением нашей семейной предусмотрительности. Сейчас я

Чудаки

несколько раз закинул сеть в мое с родителями совместное прошлое, пока наконец не поймал, ну пусть не золотую рыбку, но все же какую-то рыбешку, – на крупную я, конечно, и не рассчитывал. Но все же – обладателей чуть живых лиц среди многих типических. Затем еще одну, потом даже и третью. Та оказалась совсем уж полудохлой килькой. По-моему, очень отдаленная родственница, придурковатая, полуюродивая, которая, меня запеленав, повязывала кулек пылающим алым бантом и, баюкая, пела песню про ангелочка, тут же сочиняя слова. Собственно, память о дурашливой тетке была заимствованной. Сама она куда-то канула еще до того, как я обрел сознание, оставшись лишь семейной байкой, которую мама повествовала не раз, и столь проникновенно, что я, еще не покончивший с детской сентиментальностью, чуть не смахивал слезу. Ее образ оказался прочно внедрен в мою память, – когда одним серым паскудным утром, отец мне сказал, что она умерла, я, по-моему, действительно всхлипнул, хотя был отнюдь не плаксивым ребенком, той слезой удостоверив ее причастность к моей судьбе. По моему представлению, в ней вовсе ничто не напоминало гения эпохи, однако та ворожила, нашептывала, невесть чем одаряла мою младенчески податливую душу. Все ж это обещанье какой-то неожиданности в моей наперед расписанной предками жизни.

Однако свой скромный пир памяти я начал не с давно канувшей тети, а с первой пойманной рыбешки. Когда-то с отцом, кажется, ненадолго, сдружился странный человек, уделявший мне такое внимание, что теперь в нем заподозрили б извращенца, – но та эпоха была чиста помыслами. В отличие от других родительских знакомцев, достойных, цивилизованных и в большинстве совсем даже неглупых, притом еще пресней моих – среди всех ни единого даже кухонного пророка, – этот был социально не определен ни одеждой, ни обликом. Какой-то обтерханный, немного жалкий, но притом отличался от прочих горделивой повадкой. Грива до плеч, что тогда было непривычно, высокий лоб в ранних морщинах, – как теперь понимаю, тогда он был молод. Проявляя внимание, он со мной не сюсюкался, а, помню, говорил будто с равным, что-то рассказывая, о чем-то расспрашивая. Об этом чуде я и спросил отца в равнодушной тональности. Уже привычный к моему праздному, как ему казалось, любопытствованию, отец не почуял в вопросе хоть сколько-нибудь далеко идущего замысла. Стал добросовестно припоминать:

– Да, помню, высокий такой, шепелявый. Верно, приходил раза два-три. (Странно, мне-то он виделся значимой фигурой собственного детства, или отец что-то напутал.) Даже не знаю, откуда взялся.

– Ты принял его за стукача и быстро отвадил, – встряла мать, вдруг прислушавшись к разговору.

– Это вовсе другой, тот и был стукачом, – неуверенно произнес отец. – Я знаю, о ком он. Высокий, говорил чуть невнятно. С тобой (это уже мне) все шептался, приносил игрушки.

Получается, тот человек попросту меня подкупил иль, по меньшей мере, мою память. Однако удача – он все же оказался не мнимостью.

– Этого как не помнить? – кивнула мама. – Мой отец его лечил от сифилиса. Он вылез и пропал. Кажется, был журналистом, по крайней мере, если не ошибаюсь, пописывал.

Ну вот, тем более удача. Возможно, писатель, да еще сифилитик, к тому же проникший в родительскую жизнь сквозь тайный проем («не знаю, откуда взялся»), тогда почему б не какой-нибудь литературный гений? Стоило порыться в энциклопедиях. Но вопрос – чем бы наше семейство могло привлечь гениального творца? Возможен ответ – как раз своей милой заурядностью, сулящей миг отдохновения от глубоких дум и богоравной ответственности за мироздание. Я почти готов был поверить, что вот он, уже угодил мне в сети искомый демиург, однако отец заспорил даже с некой горячностью. Когда родителям все ж доводилось сверять свою память, оба становились упорны и дотошны. Предположения о личности и профессии странного для их общенья человека сыпались одно за другим, доходя до нелепостей: садовник? химик? архитектор? вовсе палач? Почти позабытый персонаж моего детства делался многолик. Я почти готов был поверить, что с первой же попытки обнаружил демиурга эпохи. Однако в моей памяти, и так-то нечеткой, от родительского галдежа и сумбура воспоминаний образ его все больше бледнел, мешался с другими. Наконец только и сохранился что изборожденный думами лоб, достойный демиурга. Этот лоб я позже преподнес живописцу, изобразив на бумажном листе, как умею, но еще и описав словесно. А художник его изобразил на загрунтованном загодя холсте в полном соответствии с моей памятью. Теперь высокий лоб бесстыдно выпирал из шелушащейся куцыми пейзажами стенки, приискивая достойные себя думы.

Другой персонаж мне виделся немного отчетливей. Это был дачный сосед, запавший в память, как и предполагаемый журналист, по внешней примете, в данном случае – густой, курчавой бороде. Тем он напоминал пророка из иллюстрированной Библии. Сосед мне виделся старцем, хотя, наверно, и он был тогда молод. Я его не то чтоб побаивался, но он мне внушал чувство растерянности, всякий раз при встрече подмигивая, сперва одним глазом, потом другим. Может, у него просто был тик, а мне мерещилось, будто он меня призывает в сообщники или намекает на общую тайну. Откуда ж у меня, человечка с тогда еще девственной душой, возьмутся тайны? Одни детские секретки, но весь мир тогда казался таинствен. Этот пророк-самозванец, как помню, чуть подгаживал упоительное детское лето, вселяя тревогу. Не помню, обращался ль он ко мне изустно. Теперь, обобщенный памятью, кажется, что да, по крайней мере, нечто всегда бормотал, неразборчиво, однако упорно, бубнил и бубнил. Вообще на этот раз моя память проявила особенную услужливость, превратив его чуть не в эмблему, – «неприкаянного чувства», добавил я мысленно, вспомнив речь полубезумного живописца, – хотя уже сама борода, в детскую пору, была для меня приметой сакральной, то есть причастности иноприродному бытию. А родительская память и тут подкачала. У отца будто настала амнезия, он так и не вспомнил ни бороды, ни целиком соседа, что странно, прожив бок о бок несколько летних сезонов, прежде чем наша семья предпочла морские курорты. Мать только лишь припомнила, что он вроде бы утонул в местной речушке. Такое было возможно, ибо мелкая, узкая речонка алкала ежегодных жертвоприношений. Я и сам в ней однажды едва не утонул. Но вряд ли он все же утопленник, иначе б в ранних, пугливых сновиденьях мне б являлся увитый водорослями, как водяной.

Я, недолго помучив, отстал наконец от родителей, уже начавших догадываться, что мой интерес неспроста. Когда я от них возвращался домой, слегка растревоженный беседой, мне явился навеванный ею образ, ярчайший и красочный, даже не эмблема, а будто начищенная до блеска медаль. Почти наверняка вымышленный, но из тех, что подменяют настоящую память, по крайней мере, вызывают сомнение уже как раз своей интенсивностью в сравнение с блеклыми картинками других воспоминаний. Они больше напоминают красочную иллюстрацию, вырванную из когда-то любимой, но полузабытой книги. Так вот, мне привиделся дачный пейзаж – ближнее поле с вьющейся в обход него дорогой, кончик которой истончается, будто змеиный, тем отчего-то рождая ностальгическое чувство. Наклонные столбы света пробивают соседний лесок. Я, наверно, вовсе мал, так как земля совсем близко перед глазами, но иду почему-то один. А навстречу мне, в солнечном ореоле, будто вплетенный в многозначный

орнамент моего видения, – тот самый бородатый чудаков. Нет, при всем том, в сравнении с привидевшемся мне гением всего лишь бледная тень, но в каком-то нежданном величье. Он играет руками, будто меня осеняет или заволаживает, говорит некие слова, почти разборчиво. Словно, чуть прислушайся, я их вспомню. Нет, так и не расслышал, друг мой, но все же возвращался с уловом – усилием памяти вырвал из глазниц его оба глаза, будто зовущих в сообщники или намекавших на тайну, и

Демон или ангел?

принес их художнику. Тот сделал много попыток вписать взгляд демиурга пониже уже запечатленного лба, пока не добился удовлетворившего меня сходства и устроившей его соразмерности намечавшегося лица. Пока выходило нечто пугающее, до мерзости мнимое: на холсте – лоб, выражающий беспредметную мысль, да еще глаза как зеркало, приманившее пустое видение. Но для начала я почему-то и не ожидал иного. Главное, что художник, казалось, увлекся моим заданием. Мною похищенный взгляд прилаживал так и сяк, нечто пытался мне разъяснить своей сокровенной речью. Привыкший к полуудачам, он, кажется, и впрямь собрался творить шедевр, оттого беспокоился, ворчал:

– Не знаю, что выйдет. Может, не стоит заканчивать, пусть так и останется образом из всего двух деталей, будто выглядывающих оттуда, где ничего и нет, лишь изнанка мира, пыльная, непримененная плоскость. Демиург неистов, а на картине, доведи ее до конца, получится маска, застывшее, а не живое лицо, манекен, набитый трухой всеобщих упований, вместо живой плоти. Тут бы сгодились два действительных гения, пылающих свечки, а мы с тобой оба – два потухших огарка. Подумай, для того ли тебе образ гения, – допустим, я уже поверил в его существование, – чтоб приобщиться его жизни или затем чтоб его укротить, обеднить смыслом, спеленать нашей с тобой обыденностью, опошлить, как всё, чего нам стоило лишь коснуться умом, взглядом или деянием? Не это ли тайная мысль, в которой ты и себе не хочешь признаться? Не оттого ли ты выбрал в помощники бездарного живописца? Коль он существует, твой демон, ты бросил ему необдуманный вызов. В сравнении с ним ты никто, в наипрямшем смысле. Возможно, все мы лишь бледные тени его греха, – кто ведь знает его отношения с горним? – но столь величавого, что не нам его судить, снующим, словно юркие серенькие мышата, суетливые акциденции на обочине его блистательной жизни.

Его речь, в моей передаче краткая, длилась не меньше часа, пока он водил кистью по загрунтованному холсту. Из нее следовало, что я все же его убедил в реальности гения или, по крайней мере, заразил своей мечтой. Метафору недоступного ему дворца он уже не применил. Однако догадка художника о моих демоно(ангело)борческих намерениях, высказанная как раз довольно внятно, была так очевидно несправедлива, что я не стал даже с ним спорить. Ты ведь это знаешь, друг мой? Скорей всего она выражала его неуверенность в своей творческой мощи. Сам же наверняка боялся, что предполагаемый гений так и сгинет в тенетах его ущербного творчества. Что до меня, то не так уж я ценил свое существование, – то есть ценил, пока его не с чем было сравнить. Теперь же вдруг понял, что готов пропасть, будто полуденная тень, только бы явился всем затаившийся гений, в своем блеске и славе.

Больше меня заинтересовала проговорка художника об отношениях моего демона с горним. Его ли проговорка, или это лепет моей всегда дремлющей совести? Вот тут я в сомнении – фраза, что я поместил в конец его речи, как ее героический аккорд, вряд ли прозвучала. Вероятно, я ее слепил из значительных умолчаний и трухи его словес, которую прежде будто размолил слюнями во рту. Притом, что не раз мне случалось обознаться, наделять слова-призраки значением наверняка им чуждым. Ведь каждое слово в устах живописца мне виделось, словно ряженный, и все вместе – будто накинущие маски его карнавала, пусть и неяркого, в свете будней, однако с путаницей и розыгрышами. А подчас его речь мне виделась толпой дезерти-

ров, одетых в обноски, добытые мародерством, которую он и сам отчаялся призвать к порядку. Напрасно и пытаться взять над ними команду. Лишь в первый миг постаравшись оценить, что сулит мне явившийся образ, как ты заметил, я потом называл его наугад – гением современности, демоном эпохи, демиургом, разок и ангелом, я вовсе не имел в виду какой-либо принятой классификации нематериальных сущностей. В ней я и вообще-то был слаб, потому нерешителен, – не скажу чтоб неразборчив. Даже не с рождения, а по родовому сознанию агностик, я с горным старался быть осторожен, будто соблюдая пакт о ненападении. С родителями, побывавшими у адских врат, я не касался этой темы, одной из запретнейших между нами.

Предупреждая твой вопрос, друг мой, уточню, что мой гений, – иль кто он? – вовсе не был крылатым, что было б слишком плоской метафорой. Притом в нем присутствовала готовность к полету. Можно было и в своих отношениях с гением эпохи остаться агностиком, – мол, какая разница, кто он и откуда? – но в том-то и дело, что слишком уж он отличался от моей скудной жизни, сулившей всего-то мелочь, но и ничем, по сути, не грозившей. Мои родители-экзорцисты, кажется, заклинали и самоё смерть, превратив в какую-то свою унылую приживалку, пожалуй, пусть и крупную, однако неизбежную, потому стерпимую неприятность. А для матери, думаю, достойные похороны, успенье в почете, виделись последней скромной победой в ее ненастойчивой тяжбе с существованием. Мой величавый образ как раз и сулил, и грозил, обещал необычайное приключение духа. Кто он и впрямь? А мы все – и правда ль ошметки его греха, коль он демон? Себя-то я, видимо, по скромности, не считал грешником. Ну да, сотворил несколько житейских пакостей, скорей из недомыслия. Даже нет, из деликатности, чтоб не унижать ближнего своей чистотой. И в этом тоже выразилась моя природная нечрезмерность.

На нашей-то жизненной периферии и грех не губителен, и добродетель – невеликая заслуга. Грешим по слабости, добродетельны – по лености. Не то демон иль ангел, глянувший из самой сердцевины бытия. Ведь прежде из всех иноприродных звуков я подчас различал лишь глумливый шепоток вселенной. Но, видно, не вовсе заткнул уши и замкнул взор, как, уверен, и мой художник. Гений эпохи уж наверняка причастен горнему, приобщен во всей мощи своего естества. Весь он как зычный зов, но куда призывает? Привычней, конечно, так и жить в нашей сумеречной неопределенности, не стяжав ни рая, ни преисподней. Но ведь не зря он мне явился, когда я лишь только услышал отдаленный лепет неизбежности, едва слышимый оклик притаившейся за углом смерти. Как мне, с моим невеликим жизненным размахом, понять столь несоразмерную мне сущность? Слышал, что ангелы благовествуют, а демоны сулят. Мой демиург, кажется, не сулил ни возврата юности, мне, уже предчувствовавшему драму увяданья, что разрешится последней трагедией; ни знания, ни любви. Он был подобен некой победной вести, но благой ли? Я всегда уповал на время, которое надежный союзник любой посредственности, и впрямь лучший лекарь. Настойчивость моего до сих пор здорового существования смиряла легкую рябь сомнений и допустимых житейских бед. Я решил и сейчас по привычке уповать на будущее, которое рано или поздно мне приносило ответ на любой из поставленных жизнью вопросов.

Думаю, что у художника, которого само его ремесло вынуждает находиться в общении с тонкими мирами, пусть и, по его собственному признанию, ущербном и одностороннем, было понятие о моем демоне чуть более определенное. Нет, конечно, в его речи мне вовсе не помешалось упоминанье о горнем. Еще раз глянув на портрет, я заподозрил, что он над ним потрудился и в мое отсутствие. Над задумчивым лбом художник чуть наметил, видно, с робостью, неуверенно, то ль небольшие рожки, то ль едва мерцавший ореол. Может быть, у него просто рука дрогнула. По крайней мере, от столь робкого мазка можно было запросто отречься. Потому я сделал вид, что принял его за случайную описку, как и не поделился с художником сомненьями о природе своего демиурга. Кроме всего, я опасался, что меня окончательно запутает его плутающая меж понятий речь. А художник заговорил вновь:

– Еще неизвестно, друг мой (отмечу, что он впервые назвал меня другом), кого мы приманим, какой темный смысл прильнет к мозаичному образу. Может, вовсе не демиург, не воплощение эпохи, не тот, чьи мы лишь робкие тени, а какой-нибудь мелкотравчатый бесенок, лукавая сущность, готовая накинуть первое попавшееся облачение. Получится дрянная обманка, суммарный образ наших бессильных упований. Оконце в мир, который еще скудней нашего.

– Ты все-таки робок, – упрекнул я художника. – Риск не так уж велик, да нам и рисковать-то нечем. Поставить ли на кон убогую душу, которая вся – чужие слова и заимствованные понятия? Всего-то и ставка – наша бескрылая жизнь, грядущие блуждания среди непоименованных духов.

Договорив последнюю фразу, сулившую наихудшую посмертную перспективу, я и сам испугался. Не понимаю, как она подвернулась мне на язык. Видно, все мое существо исподволь проникалось мне явленным гением. Иль, может быть, это был образ, невзначай выпавший из речений художника. Возможно, я, хотя и опытный толмач, но упустил там некую угрозу, а может быть, приуменьшил его смятение. Или приобщение к сонму непоименованных духов было нашим с ним общим подспудным ужасом? Художник стоял перед лишь только намеченным портретом эпохи, поигрывая костяным ножом для разрезания бумаги, но достаточно острым, чтоб исполосовать полотно вдоль и поперек. Я заговорил со смятенным художником, осторожно, как с опасным для себя и окружающих безумцем:

– Да не страдай заранее. Это всего лишь попытка, почти та же игра, которую ты затеял, собрав типичные черты в лик вселенской посредственности, или считай, что прихоть заказчика, то есть моя личная. Коль тебе не хватит таланта, так этот образ тихо опочит, как некрещеный младенец, оставив по себе лишь смутную тревогу, малую отметину на нашей ко всему привычной совести.

Возглашал примерно такие слова и одновременно думал: что я несу? этим ли умиротворишь безумца? чем демон эпохи схож с некрещеным младенцем? Впрочем, договорив, я тут же понял, откуда взялась эта с виду бессмысленная метафора: дом, где до сих пор обитали родители, а я прожил детство и юность, воздвигнут на месте кладбища некрещеных младенцев. Возможно, оттуда грустная сокровенность пространства моего детского существования, которую я всегда смутно чувствовал. Образ уворованного смертью младенца, ангела-демона, все-таки задевал даже мою, защищенную от горнего душу. Он стал для меня тихим зовом печального и таинственного бытия, чуть не символом всего, что не здесь, а негде. Может быть, художник так и понял, – он знал историю моего прежнего дома и всегда ежился, когда нам случалось бродить в его окрестностях. Странно, однако моя речь и впрямь успокоила живописца, а возможно, он просто устал. Ведь наша с ним беседа, как всегда, закончилась

Предутренный город

под утро. Он погасил, послунив палец, одну за другой недогоревшие свечки, а я вышел на улицу в смутный час, когда ты беззащитен пред угрозами мироздания, но также разверст и благодати. Когда пустынный город открыт неотмирным ветрам, когда тоскливые улицы плетут свой сюжет, неразличимый в дневном свете. Курлыкали голуби, граяли вороны в лабиринтах пустых улиц. Отовсюду неслись шепотки полусонного города. Живописец, если я не ослышался, озабоченно бормотнул мне в спину: «Как бы нам не обознаться?», имея в виду, разумеется, нашего ангела-демона. Почему-то я был уверен, что не обозначаюсь. А называть его буду по-прежнему, как придется.

Я шагал не торопясь. Навстречу мне попадались любители утренних прогулок иль просто припозднившиеся гуляки, встрепанные и странные, каждого из которых я был готов принять за вестника инобытия. Но, вынужден признать, что тем утром не встретил ни единой личности, которая мне показалась бы примечательной. Явление гения эпохи, конечно ж, меня изме-

нило. Нет, я соблюдал свою внешнюю форму, даже еще скрупулезней, чем прежде, настаивал на своей неизменности. Однако то, что мне прежде давалось легко, теперь требовало все больших усилий. Боюсь, немного прохудилась моя капсула, равно спасавшая от жизненного холода и жара, зато я был открыт чуду. Неужели чуть дала сбой иммунная система моей души, и я, как вич-инфицированный, теперь беззащитен перед раньше безвредным вирусом? Мне иногда казалось, что мое еще недавно практичное сознание теперь сделалось чересчур восприимчивым, готово вцепиться в любую мелочь, чтоб ее положить в основание мира иного, чем тот, где я обитал раньше. Этот новый мир, я чувствовал, уже готов заплетать свой сюжет, как бы в стороне от моего обыденного существования. Но я уже стал путаться, где средоточье, а где периферия.

Так понимаю, что моя нынешняя восприимчивость к тому, что я прежде считал неважным, к мелочам, деталям, ко всему орнаменту бытия, о неслучайности, даже мистичности которого (то есть орнамента) я вдруг стал догадываться, была вполне законной, коль я решился на поиск гения современности. Знает ли мой художник, что гений может избежать лика, а скажем, затаиться в лиственном обрамлении чела? Если нет, придется как-то ему подсказать. Давно уж смерклось мое мгновенное озарение гением, но я стал немного различать сокровенное сияние жизни. Ведь, чтоб уловить демона, требуется пространство ему соразмерное, – в равное моему прежнему, вовсе уж мелкому образу мира ему б не втиснуться. Последнее, не вовсе мне понятное соображение чуть покрутилось у меня в голове, устроив там некоторый переполох. Я вдруг понял, что прежние необычные и непрактичные мысли, которые я, – помнишь, друг мой? – уподобил, хотя и незваным, но и не то чтоб нежеланным гостям, теперь ко мне зачастили. И, хуже того, я сам вроде б как-то незаметно перестал ощущать их пришлыми, чужаками. Как-то они в моем мозгу обжились, став едва ли не домочадцами. Нет, нет, до этого еще далеко, но, по крайней мере, уже нет такого, что я существую от них отдельно, они – сами по себе. Еще хорошо, что покамест они тушуются, не пытаюсь ворваться в обыденно-деловой пласт моей жизни, чтоб устроить там бучу.

Гуляя по городу, обернувшись лабиринтом, я вдруг подумал, не вечно ль я заморожен демонами? Не всегда ль выполняю чью-то неуклонную волю? Прежде – обыденной жизни, измышленной, вычувствованной поколениями, с ее тухлыми бесенятами. Теперь же кинулся вдогон яркому образу, который мне едва ль не чудился в небесах, повыше городских зданий. Но он и впрямь не пустой ли манок, облачное видение? В любом случае, где ж мое своеволие, где моя-то собственная жизнь, какая ни есть? Я ж не робот, наконец, подчиненный чужой программе. На миг я даже усомнился в существование собственной души. Я ведь напрочь не помнил своего душевного развития, – как я что-либо постиг, сам додумался до чего-то. Я словно б даже и не знал детства, родился уже умудренным, то есть разумным и будто заранее целиком прилаженным к жизни. Моя мудрость разве что совершенствовалась с годами. Ну вылитый робот, – те, говорят, тоже бывают способны к саморазвитию.

Но я тут же отмел сомнения, в которых, не иначе, повинна межеумочная, предрассветная пора, когда сквозит из всех миров, а душа зябнет и всегда тревожна. Яркий образ, конечно же, безобманен. В сравнение с ним все остальное обман. Эпоха, которая, нам с тобой, друг мой, выпала, разумеется, не покойна. Кровь проливается легко, но даже и слишком. Выходит, что это и вовсе не кровь, а клюквенный морс или, скажем, блеклая сукровица. Это бурная эпоха, но ответь, почему ж она не видится нам трагедийной? Так, мелодрамой, разыгранной на расцвеченных ярко подмостках мастеровитой, притом не талантливой труппой. Даже апокалиптизм ее кажется мелодраматичным. Когда я по телевизору наблюдал, как рухнули здания, мне почему-то не привиделся гений эпохи в бестревожных небесах. Наверняка он чурается громких эффектов, а все мы и впрямь юркие тени его греха. Он, как я уже говорил, видится мне не идеей, вовсе не обобщением, а именно человеческим существом, в котором целиком воплотился дух современности, давно уж ведущим свою сокровенную проповедь, не таясь, однако

нами не расслышанный. Он как напряженный на разрыв нерв нашего времени, его истинная суть. Это мы ко всему глухи, нас способно разбудить лишь эхо архангельских труб, которые сами для нас неполнозвучны.

Как видишь, друг мой, в предрассветный час, нечаянные и, возможно, сомнительные мысли устроили в моей голове парад, воспользовавшись моей задремавшей бдительностью. Да нет, ты и сам наверняка расслышал в них отзвук пророческого гула, который точно уж несомнен. А мне уже почти на пороге моего ложноклассического дома вдруг пришла в голову странная затея. Я попытался, закрыв глаза, вообразить себе эпоху в ее полноте и целости, в красках и объемах, выражающих ее смысл и чувство. Возможно, и с тайной мыслью зазвать демона в ему пристойное помещение, о чем я раньше, ты ведь знаешь, и не мечтал. Конечно же, знал, что попытка окажется тщетной, но решил воспользоваться межеумочным часом, когда душа вся открыта горнему и вожделеет чуда, а память – прилежная ключница, задремав, уже не так бдительно стережет свои закрома.

Нет, пожалуй, не так – попытаться вообразить эпоху в ее полноцветье даже в предутренний час у меня не хватило дерзости. Скорей я попытался ее застичь врасплох, когда та была, подобно и мне, незащитным младенцем, – так ли уж и впрямь умудренным? – может быть, даже менее крикливо обозначившим свое появление на свет. Мы крепили, росли и мужали о бок друг друга, отчасти ведь осененные ангелом или демоном. Я обратил взор внутрь себя, пробежался теперь свободной от мирских задач памятью вспять по все истончавшейся тропке, вдруг ощутив нечто созвучное радости. Перспектива души иная, чем видимого мира, оттого кончик пути, аппендикс, так и остался тонок. Он поигрывал, как змеиный хвост, бередея этим своим кончиком давнюю рану. Для начала вышло не так плохо: среди туманных под утро полей моей памяти, в конце истончавшейся тропки образ новорожденной эпохи вскинулся на миг, потом же увял, как там и все увядало. Честно скажу, я не надеялся на большее. Новорожденный образ был таким, что не описать словами, не стану и пытаться. Больше всего похож на ком податливой глины, разминаемый могучей и нежной рукой. Прделанное впервые упражнение я решил сделать постоянным, надеясь, что, развив способность к некорыстным воспоминаниям, сумею-таки призвать гения эпохи. Не думай, что таким образом я постараюсь утвердить свою власть над ним. Куда мне? До такой степени мое нахальство не простиралось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.